

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 18. “По мне Пролеткульт не заплачет...”

В конце августа 1918-го Клюев познакомился с Владимиром Кирилловым. Крестьянин по происхождению, бывший эсер-максималист, позже меньшевик, судимый в 1906-м за участие в террористических актах и прошедший каторгу и ссылку, Кириллов с максималистской безоглядностью ринулся в революционное половодье. Естественным было его появление в рядах Пролеткульта — Организации Пролетарской Культуры, созданной за месяц до Октябрьской революции и ставшей самой массовой общественной организацией в Советской России. Идеология сей организации зиждилась на “примате классовых интересов” и “культурной гегемонии пролетариата”. Обращает на себя внимание один из основополагающих тезисов сей организации: “Пролетариат должен постичь все достижения предыдущей культуры, усвоить из нее все то, что носит на себе печать общечеловеческого”. Сия декларация, практически совпадающая с тогдашними взглядами и словами Ленина, словно нарочно перечила одному из самых печально знаменитых стихотворений Кириллова, тут же приобретшему широчайшую известность.

*Мы во власти мятежного страстного хмеля.
Пусть кричат нам: “Вы палачи красоты!”
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
.....
Слезы иссякли в очах наших, нежность убита,
Позабыли мы запахи трав и весенних цветов,
Полюбили мы силу паров и мощь динамита,
Пень сирен и движенье колес и валов.*

Эта декларация, дословно перекликающаяся с “маяковской” (“Белогвардейца найдете — и к стенке. А Рафаэля забыли? Забыли Расстрелли вы? Время пулям по стенкам музеев тенькать, стодюймовками глоток старье расстреливай!”), вызвала резкую реакцию у идеологов Пролеткульта, как совпадающая по смыслу с проповедями ненавистных “пролетариям” футуристов.

Продолжение. Начало в № 1–11 за 2009 год, № 1–3, 6, 7, 9 за 2010 год.

“Великий Художник – Пролетариат творит новую культуру. Отвлеченную грезу всей вселенной, красоту человеческой жизни, он воплощает в реальную форму. С любовью и верой мы смотрим в грядущее – оно несет нам освобождение тела, души и мысли; оно несет нам неисчерпаемое творчество народных масс. И пусть основанная на рабстве, собственности и грабеже буржуазная культура озлобленно, исступленными криками и клеветой встречает приход Великого Художника. Мы теснее и крепче сплотим свои ряды, мы восторженно взлелеем и соберем все цветы пролетарского творчества. В этом – основная задача нашего журнала”.

Этой декларацией открывался журнал Пролеткульты “Грядущее”, в котором появятся два ключевых ключевых текста – “Красный конь” и “Огненное восхождение”. Кириллов, Всеволод Князев с не менее популярным, чем кирилловское “Мы”, “Красным евангелием”, Маширов-Самобытник, Яков Бердников и многие куда менее известные и совершенно забытые прозаики и стихотворцы из рабочей и крестьянской среды печатались на тех же страницах, что и торжественные “Своевременные мысли” некоего Аксен-Ачкасова, написанные “в пику” “Несвоевременным мыслям” Горького и выдержанные, насколько это было возможно, в памятной стилистике “пролетарского классика”.

“... Странно слышать и видеть, как некоторые бывшие идейные и духовные вожди пролетариата, долгие годы служившие великой цели освобождения рабочего класса, теперь, когда этот класс, сбросив с себя оковы векового рабства, неопытными, но могучими и непреклонными руками берется за строительство новой жизни, эти бывшие вожди, вместо того, чтобы слиться с ним в этой великой работе, став в позу безучастных наблюдателей, занялись неблагодарной работой – отыскиванием на теле освободившегося исполина язв и рубцов – следов прошлого насилия и рабства.

Прикинувшись наивными простаками, они с ужасом кричат о мнимых преступлениях и жестокостях рабочего класса, о зоологических инстинктах толпы, об отсутствии идеализма и т. д., как будто не ведая о том, что ни одна революция в мире не была так гуманна и милосердна к побежденному врагу...”

(До боли знакомые сентенции! Нечто подобное мы слышали и читали в изобилии после “революции” 1991 года. Разница лишь в том, что “пролетарии” 1918-го были натуральными идеалистами и верили в каждое произносимое ими слово, тогда как “буржуа” 1991-го лицемерили и лгали с самого начала. – С. К.)

“Перепуганные вспыхнувшим во мраке ночи ярким светом пучеглазые совы и лживые жалкие мещанишки “окуровцы” вопят о зверствах, чинимых пролетариатом, вопят о дикости и хулиганстве рабочих на окраинах. Я считаю излишним с ними полемизировать по поводу “зверств”, ибо всякий здравомыслящий и честный человек знает, что Российские государственные и политические перевороты были не революционными восстаниями, а крупными демонстрациями, торжественными празднествами. Российский пролетариат, солдат и крестьянин явили Миру неслыханное великодушие к своим классовым врагам и беспримерную гуманность... Вопль о хулиганстве рабочих – или бесчестная клевета, или болезненная галлюцинация... Работы впереди пролетариату очень и очень много, но и сделано им уже немало. И когда оглядываешься назад, смотришь на пройденный путь, на достигнутое и сделанное – хочется радоваться радостью ребенка, а в груди растет и крепнет неизбывная Вера в Будущее”.

Пролетариат, по словам авторов журнала, “сохранил Огонь, украденный у властителя миров титаном Прометеем”. И конечная цель, и средства ее достижения были обозначены со всей ясностью: “... Лучшим и самым могучим фактором в созидательном процессе пролетариата и могучим двигателем по пути прогресса, новых завоеваний к конечной цели – *Социализму* – являются два всеобъемлющих огненных слова – *Культура* и *Просвещение*. Сферы их влияний и действий – безграничны... Горизонты – необозримы... Значение и могущество – огромны...”

Создается впечатление, что авторы журнала продолжают жить в состоянии вечного “торжественного празднества”, невзирая ни на гражданскую войну, ни на смертельное противостояние большевиков и левых эсеров, ни на объявленный “красный террор”... Что, впрочем, не мешает им тут же ставить на надлежащее место своих “культурных противников”.

Из статьи еще одного “пролетария” Павла Безсалько “Футуризм и пролетарская культура”:

“Мы сами охотно исключаем пролетарскую культуру из футуристического кольца, ибо никогда мы не были поклонниками блока левых, тем более, союза с теми, которые, по нашему мнению, идут левее здравого смысла”.

“Грошковые” истины рабочих в этом “коммунисте” (Маяковском. — С. К.) вызывают тошноту. И для него дороже всех этих грошовых истин необыкновенное рифмование слов с окончанием на эр, ша, ща! И вытаскивание роялей через окно на улицу багром барабанов и роялей, “чтоб грохот был, чтоб гром”.

Необыкновенное пристрастие у футуристов к бутафорскому грому”.

Далее Безсалько цитировал стихотворение Маяковского “Радоваться рано!” (о белогвардейце, Рафаэле, Расстрелли и Пушкине) и соответственно комментировал:

“Этот бутафорский гром необходим футуристам, как капиталистам благородные слова о защите родины от вражеского нашествия, потому что за словами и за шумом можно потихоньку делать свои делишки. А делишки эти у футуризма дискредитирование рабочей революции. Если же такой усердный шум производится по глупости, то тем хуже — услужливый дурак опаснее врага.

Пролетарские поэты тоже писали:

“Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля”.

Но это писалось в свое время (в том же году! И нескольких месяцев не прошло — а уже словно все в иной эпохе! — С. К.), чтобы устыдить тех, кто во время московского боя бежал из наших рядов. Мы прокричали им, что наше Завтра лучезарней золотых макушек Чудовых и иных монастырей. Что же вы, гражданин Маяковский, дадите нам взамен Пушкина, которого вы еще не осилили, которого вы читаете по ночам (Маяковский в Петроградском Пролеткульте при всех наших товарищах сознался, что он Пушкина читает по ночам и оттого его ругает, что, быть может, сильно любит), а по утрам называете “негодяем” и “сволочью”? Со своим “бунтом” вы напоминаете нам недоразвившего атеиста, который не отрицает существования Бога, а лишь борется с ним... Прежде всего свою голову нужно обделать или снести ее в психиатрическую Бехтерева, а потом уже писать приказы по искусству”.

Любопытно, что в том же номере журнала “Грядущее”, где появились “Мы” Кириллова, другими “пролетариями” утверждалось прямо противоположное кирилловским сентенциям:

“Индивидуалистическое искусство буржуазного общества, выросшее на всевластии капиталистической личности, ведущей отчаянную борьбу за господство на мировом рынке и покоряющей себе целые армии тружеников, должно стать достоянием исторических музеев. Мы говорим: “музеев”, а не “архивов”, дабы у читателя не составилось представления, будто предлагается игнорировать то громадное наследство, которое нам оставило прошлое. Наоборот. Его следует серьезно и внимательно изучать; и только таким путем можно будет правильно наметить вехи будущего искусства. Сколько умных голов и теперь сидит над изучением великих памятников искусства Ренессанса...

Общество свободного Труда, организованное, стройное и гармоническое целое, во всеоружии знания и искусства, готовится стать единственным творцом и повелителем как самого себя, так и внешнего мира”.

...Нельзя, впрочем, не сказать, что молодежь, охваченная стихией всеразрушения (свойство абсолютно всех революций), всего лишь прилежно следовала своим именитым предшественникам — “культурным” варварам, еще в годы первой русской революции вещавшим: “Сложите книги кострами, пляшите в их яростном свете, творите мерзость во храме! Вы во всем неповинны, как дети!” П. Безсалько, впрочем, вспомнив этот брюсовский “призыв по армии искусств”, уже в другой статье прокомментировал его с достаточной пролетарской “аккуратностью”: “Да, кое-что мы разрушим, если это “кое-что” царские монументы на площадях. Развалятся, верно, и церкви, которые мы перестанем посещать. Наверное, и многие дворцы, которые устроены так, что и одному в нем неудобно жить, а присматривать за ними нужно сотне! Мы не будем тратить огромные средства на поддержание такого архитектурного идиотства. Да, мы не будем зажигать костры из буржуазной литературы, но, наверное, знаменитые теперь романы нами никогда не переиздадутся. И многое буржуазное и интеллигентское настолько обесценится, что

его уже никто не будет ни хранить, ни ценить...” Это вариант, так сказать, “мягкого” обращения с прошлой “враждебной” культурой.

Обращение Брюсова к “грядущим гуннам” еще можно было бы счесть ризскованной поэтической гиперболой, но после Февраля тогдашние демократы-интеллектуалы уже переходили в своем дикарстве на язык “презренной прозы”: “Возникла в Петрограде комиссия по охране памятников. А не нужна ли для равновесия комиссия для разрушения памятников?” (А. Амфитеатров). “И я бы на месте народа стал портить и уничтожать предметы искусства, потому что их захватили богатые люди. Единственная защита искусства состоит в том, чтобы отдать его народу, толпе” (Федор Сологуб).

* * *

Самым известным, самым популярным стихотворением Кириллова стало стихотворение под кричащим названием — “Железный мессия”.

*Вот он — Спаситель, земли властелин,
Владыка сил титанических,
В шуме приводов, в блеске машин,
В сиянии солнц электрических.*

*Думали — явится в звездных ризах,
В ореоле божественной тайны,
А он пришел к нам в дымах сизых,
С фабрик, заводов окраины.*

.....
*Вот он шагает чрез бездны морей,
Непобедимый, стремительный,
Искры бросает мятежных идей,
Пламень струи очистительной.*

.....
*Знак его алый — символ борьбы, —
Угнетенных маяк спасительный,
С ним победим мы иго судьбы,
Мир завоюем пленительный.*

Это еще звучало сравнительно членораздельно и гармонично, хотя сама по себе перспектива подобного “явления” у многих могла вызвать лишь приступ ужаса — при всей привычке уже к повседневному ужасу в реальной жизни... Ближайший друг Кириллова Михаил Герасимов вообще перечислял в стихах такие свойства железа, как “чистость... лучистость... нежность... снежность”, и декларировал “без страха и сомнения”: “Вздудал я горн рабочим гневом коммунистической мечты и, опьянен его напевом, ковал железные цветы...”

Но самую “радужную” картину грядущего “пришествия” на пролетарский лад писал бывший революционный боевик и один из создателей Пролеткульта Алексей Гастев.

*Выходи железный.
Выходи же бетонный.
Высотой в версту.
Нога его — броненосец.
Ступня его — как Везувий.
Глаза его — домны.
Руки его — виадукы.*

Этому “железному” и “бетонному” было предназначено брать “безвольную” землю и “месить ее, как тесто”...

Года не пройдет, как все эти “железные” видения “железного” преобразования земли и человечества зло и беспощадно спародирует Евгений Замятин в романе “Мы”.

... А рядом с кирилловским “Железным мессией” на страницах “Грядущего” располагалась еще одна “теоретическая статья” еще одного “идеолога” – Федора Калинина: “По поводу литературной формы”.

“... Очень странно бывает, когда “старшие братья” в литературе советуют писателям из народа: учитесь, учитесь писать. И предлагают готовые трафареты: Чехова, Лескова, Короленко.

Почему “старшие” предлагают учиться у этих писателей, а не у других, я думаю, что это и для них самих загадка. Не зная того, о чем будет писать писатель-рабочий, разве можно предлагать ему: форма Чехова будет тебе подходяща, а Толстого неподходяща...

Нет, старшие братья, рабочий-писатель должен не учиться, а творить. То есть выявлять себя, свою оригинальность и свою классовую сущность.

Не говорите ему о форме, а требуйте от него содержание.

Его классовое содержание, а не позаимствованное у Лескова или Чехова”.

Понятное дело: если классики не годились в учителя, то что уж говорить о современниках! Естественно, отодвигается в сторону мощным движением пролетарской ладони Горький, у которого “связь со старым нарушена надрывом расширившегося кругозора понятий, а овладеть новым нет достаточного сознательного желания” (вообще, по мысли, стилю и методу изложения – все это сочинение очень напоминает появившиеся 70 с лишним лет спустя “Поминки по советской литературе”). Так же поступлено и с “крестьянскими” поэтами, чье творчество не может не влечь к себе нынешних пролетариев – в большинстве своем бывших крестьян.

“Та же сказка про белого бычка повторяется с крестьянскими поэтами Клюевым и Есениным. Несмотря на примитивность, первый период их творчества выше их теперешнего пошлого оригинальничанья деклассированных интеллигентов. Вместо того, чтобы осилить понятие задач интересов крестьянского аморфного коллектива, каким путем должно идти его развитие, Клюев и Есенин предпочли этому пути пошлое жонглерство перед нарождающейся буржуазной интеллигенцией, стали выделять с ужимками и подмигиваниями словесные па”.

Ту же арию, только с куда более живописными руладами, исполнял П. Беззалько в статье “О поэзии крестьянской и пролетарской”.

“Крестьянские поэты не любят города. Город с его заводскими трубами, автомобилями, кинематографами, лихорадочной поспешностью, куда-то, зачем-то спешащими людьми, не выносят... Мы полюбили город за то, что он объединил нас, за то, что научил протесту, за то, что убил в нас предрасудки крестьян... Город, а не деревня открыли России новую эру... Мы любим электрические провода, железную дорогу, аэропланы – ведь это наши мышцы, наши руки, наши нервы: – мы любим заводы – это узлы нашей мысли, наших чувств. Это железная голова коллектива, это голова нового Спаса... Христос родился в яслях, но он не спас рабов от рабства, не сделал свободными их рожденный на сене, возле кротких скотов... Чтобы разбить цепи, нужен Спас, вышедший из огня доменных печей, чтобы мышцы его рук были стальные, и чтобы сердце его не стало на путь любви, жалости и всепрощения”.

Диллема, которую с поистине первобытным молодым задором живописал Беззалько, насчитывала уже как минимум полтора столетия. Английская промышленная революция породила во второй половине XVIII века не только аэроплан, ткацкий станок, паровой двигатель, паровоз и пароход – но и соответствующую “промышленную” литературу, воплощавшую фабричную жизнь в романах ныне совершенно забытых и никем, кроме узких специалистов, не перечисляемых Роберта Бейджа, Хэлливела Сатклиффа, Уильяма Годвина. В то же время, как реакция на происходящее, явилась на свет и стала сначала народным, а потом и всемирным достоянием “природно-историческая” поэзия “озерной школы” – Уильяма Вордсворта, Сэмюэла Колриджа, Роберта Саути... И вершиной английского XVIII и начала XIX века стало творчество Роберта Бернса и Вальтера Скотта.

Можно и нужно понять людей, вышедших на свет Божий из рабочих барачков, жизнь в которых назвать жизнью нельзя в принципе. Можно и нужно понять их тягу к знаниям и извинить их невежественное неразличение культуры и цивилизации. Но невозможно ни извинить, ни оправдать “теоретиков”, внушающих рабочим поэтам, что именно они теперь – “соль земли”, не нуждаю-

щиеся ни в какой учебе и ни в какой исторической памяти. “Горе тому, кто со-
блазнит малых сих”.

Таково было “журнальное собрание” новых близких знакомых Николая.

* * *

Казалось бы, какое-либо содружество между Клюевым и Кирилловым было полностью исключено по определению... Но — завязалась у них своеобразная “дружба-вражда” при явной взаимной человеческой симпатии.

“Я познакомилась с Николаем Алексеевичем Клюевым летом 1918 года в Петрограде, — вспоминала жена “пролетария” Анна (ей тогда было 16 лет, она только-только вышла за Владимира замуж, и сняли они комнатуху на окраине Петрограда в Новой деревне). — ...Как-то вскоре зашла к нам квартирная хозяйка Ульяна Сергеевна и сказала, что какой-то нищий спрашивает поэта Владимира Кириллова. Этим “нищим” оказался известный поэт Николай Клюев. Хозяйку смутил его необычный старинный наряд — поддевка и войлочная шляпа.

Николай Алексеевич Клюев приходил к нам несколько раз, они сильно спорили с Кирилловым о путях революции и крестьянстве...”

Первое, что здесь обращает на себя внимание — Клюев пришел к Кириллову сам. Он уже был знаком с его поэзией, и можно безошибочно утверждать, что его захватили ликующие строки Кириллова, посвященные революционным матросам (“Герои, скитальцы морей, альбатросы... Орлиное племя, матросы, матросы...”), которые сразу же отозвались в стихах “Медного кита”.

“Мой муж, — вспоминала Анна Кириллова, — очень ценил творчество Николая Клюева за его самобытность, знание старинных обычаев, редкий словарный лексикон и деревенскую революционность...” Кажется, можно было бы сказать: преувеличивает, — да еще списать это преувеличение на время написания ее коротеньких мемуаров — 1990 год... Но есть тому свидетельство самого Кириллова — отнюдь не мемуарное. В 1923 году, уже в иную эпоху, он написал стихотворение “Из дневника 18 г.”, по которому трудно узнать Кириллова — “поджигателя Рафаэля” и “разрушителя музеев”.

*Я с другом шел, олонецким поэтом,
Струилась пестрыми излучинами речь,
Он говорил о Китеже воскресшем,
О красном боге бунта, о коммуне...
Я слушал странные, дремучие слова,
И гулко отдавались по асфальту
Его олонецкие в сборках сапоги...*

*Но вот качнулась звонко тишина,
Расколота музыкой оркестра...*

*В цветах и стали двигалась пехота,
За нею конница... Тяжелый чок копыт,
И пушки в зелени, и легкие двуколки,
Алели ленты в челках лошадей,
Качались розы в шелковистых гривах,
В петлицах розы, розы на штыках,
И вечер веял розовые блесстки...
И друг сказал: “Багряное причастье —
Народ вкусил живую кровь Христа...”*

*Вскипала молодость и пенилась отвага,
Взор каждого — две пламенных свечи,
Под музыку Интернационала
Шагали непреклонные ряды...
Последняя проехала двуколка,
А мы стояли молча у стены,
И я запомнил музыку вдали,*

*И флаги жаркие, и в розовом сияньи
Слезу, застывшую у друга на щеке.*

... Вот уже кем-кем, но затворником Клюева этих лет нельзя назвать совершенно. Он с радостью шел навстречу революционной молодежи, не то чтобы невзирая на все идеологические расхождения, но пытаюсь воздействовать на нее в русле своей, “клюевской”, религиозной, духовной революции — как он пытался воздействовать в возможном будущем на Ленина своим циклом, начертав тот образ, который Ленину должно было воспринять... С Кирилловым, неустойчивым, шатучим, швыряющимся от “палача красоты” до апологии пролетария, заявляющего — “Он с нами — лучезарный Пушкин, и Ломоносов, и Кольцов...” (не исключено, что “излечение” произошло под влиянием и клюевских бесед, и клюевских стихов: “Где рай финифтяный и Сирип поет на ветке расписной, где Пушкин говором просвирен питает дух высокий свой, где Мей, яровчатый Никитин, Велесов первенец — Кольцов, туда бреду я, ликом скрытен, под ношей варварских стихов...”), — разговор был, что называется, на короткой ноге... Кириллов же первым и услышал от Клюева только что написанные послания новому другу — послания, исполненные тревожного пророчества при виде сущего духовного дикарства молодежи, ринувшейся в революцию, дикарства, не просто отрицающего всю предыдущую русскую жизнь и культуру, но “проводящего” через себя те страшные тенденции, что все явственнее проявлялись в пореволюционных событиях и которым Клюев счел себя обязанным противустать — и стоять, что называется, насмерть.

*Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.*

*Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солнца пеклеванные,
Вы же таин не расскажете
Про сады благоуханные.*

*Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.*

.....
*На святыни пролетарские
Гнезда вить слетелись филины;
Орды книжные, татарские
Шестерню не осилены.*

(А это — прямой отклик на одну из статей в “Грядущем” — статью Ильи Садофьева, громившего напечатанные в таком же “пролетарском” журнале “Пламя” поэму Александра Грина и рассказ Владимира Воинова. Герой рассказа — старик, ожидая прихода “белых”, записывает по ночам фамилии “красных” для удовлетворения грядущей мести. В диаметрально противоположной ситуации поступает, соответственно, наоборот.

“О, сколько теперь этих “хихикающих”, “на случай” записавших “беленых”, вломилось в приоткрытые двери пролетарских святынь!”

Автор статьи усматривал прямую опасность в “переметнувшихся”. Клюеву же очевидна опасность для культуры — рабочей ли, крестьянской ли: для него сами эти разграничения были неприемлемы, — исходящая от самих “пролетариев”, во всяком случае тех из них, кто громче других называл себя таковыми).

*Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном.*

*Сон кольцовский, терем меевский
Утонули в море клюквенном.*

*Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.*

Пророчествуя, что “цвести над Русью новою будут гречневые гении”, – Клюев не только увещевал своего безоглядного в революционной лихости нового друга, указывая путь от бездушного железа – “к неоплаканному, родному”, от бумажного слова – к животному, духосозидательному, но словно брал его в теплые объятия и разворачивал лицом к тому миру, откуда Кириллов вышел. Звук самого его имени переозвучивал заново для него Николай.

*Твое прозвище — русский город,
Азбучно-славянский святой,
Почему же мозольный молот
Откликается в песне простой?*

*Или муза — котельный мастер,
С махорочной гарью губ?..
Заплутает железный Гастев,
Охотясь на лунный клуб.*

.....
*Убегай же, Кириллов, в Кириллов,
К Кириллу — азбучному святому,
Подслушать малиновок переливы,
Припасть к неоплаканному, родному.*

*И когда апрельской геранью
Расцветут твои глаза и блуза,
Под оконцем стукнет к заранью
Песнокудрая девушка-муза.*

Не отсюда ли появились розы “в шелковистых грибах” и на “штыках” в кирилловском воспоминании о 1918 годе?

“Поэзия, друг, не окурок, не Марат, разыгранный понаслышке...” На поверхности здесь вроде бы – отклик на совершенно ничтожную пьесу некоего Антона Амнуэля “Марат”, напечатанную в пролеткультовском журнале “Грядущее” в том же номере, где и клюевский “Красный конь”... Но амнуэлевский “Марат” появился позже. А клюевский “Марат, разыгранный понаслышке” – это страшное ощущение очевидной связи происходящего в Петрограде 1918-го с Парижем 1793-го... Еще в 1906-м, в журнале “Перевал”, Максимилиан Волошин рисовал, отталкиваясь от уличных событий 1905-го, страшные картины якобинского террора, когда священникам публично рубили головы на площадях, и некий страшный старик, с головы до ног залитый кровью, исполнял ритуал отмщения за казнимых некогда еретиков – катаров, альбигойцев, тамплиеров, рубя налево и направо.

А Кириллов – русский город в Вологодской губернии – в это же время накрепко связан был в сознании Клюева с расстрелом священнослужителей – отца Варсонофия, пресвитера Иоанна Иванова, игуменьи Серафимы и нескольких мирян. О казнях служителей церкви, тем паче служителей храмов Русского Севера, он не мог не слышать.

Как не мог и не знать о чисто робеспьеровско-маратовском кличе Зиновьева, оглашенном в газете “Северная коммуна”: “Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить”.

...А стихотворение “Мы ржаные, толоконные...” появилось в другом “пролетарском” журнале – “Пламя”, органе Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Появилось, правда, лишь в части тиража. Из другой части эта “антипролетарская крамола” была решительно изъята.

Революционная Франция была своего рода “витриной” этого журнала, что издавался под редакцией Анатолия Луначарского, пылкого поклонника якобинского террора и Парижской коммуны.

Из номера в номер там печатались портреты деятелей Парижской коммуны, репродукции картин, посвященных Великой французской революции, статьи “Революция и искусство” (о Давиде, Делакруа, Мейсонье, Милле), “Пролетарская поэзия во Франции”. Даже материал, посвященный И. С. Тургеневу, сопровождался перепечаткой воспоминаний писателя “Эпизод из истории июльских дней 1848 г. в Париже”. Публикация стихов, посвященных Жан-Полю Марату, соседствовала с фотоснимком памятника Робеспьеру в Москве, “уничтоженного белогвардейцами”.

Луначарский ясно давал понять своим читателям – где, по его мнению, корни Октябрьской революции.

Вообще, просматривая подшивку “Пламени”, волей-неволей приходишь к логическому выводу: журнал словно нарочно всем своим изобразительным видом (иллюстрации и фотоснимки занимали большую площадь каждого номера) демонстрировал, что революция ни к России, ни к русскому народу не имеет никакого отношения.

Фотографии были – как на подбор.

Открытие памятника Лассалю. На фоне памятника – Зиновьев, Луначарский, Синайский, Альтман, Пунин.

Концерт памяти Урицкого. И снова на переднем плане – Луначарский, Позерн, Коутс, Мейчик, Александрович.

“Вожди великой пролетарской революции”. Под этой шапкой помещен ряд портретов – Ленин в окружении Троцкого, Свердлова, Зиновьева, Луначарского, Каменева.

“Вожди международного пролетариата”. На читателя взирали физиономии Христиана Раковского и Карла Радека.

“Вожди немецкого пролетариата”. Соответственно – Карл Либкнехт и Фридрих Адлер.

Открытие памятника Чернышевскому. Сын Чернышевского стоит в окружении Зиновьева, Штернберга, Альтмана и автора памятника Залькалуса.

День III Интернационала. Фотографии выступающих: Фриц Платтен, Зиновьев, Альберт Герман.

Весь этот изобразительный ряд красочно обрамлял тексты Ильи Садофьева, Михаила Артамонова, Александра Грина, Алексея Чапыгина, Василия Князева, Николая Клюева...

Клюев печатал стихи в “Пламени” из номера в номер. Его “Товарищ” был помещен рядом с огромными портретами “погибших на славном посту” Володарского и Урицкого, а “Мы ржаные, толоконные...” появилось по соседству с “Одой революции” Маяковского. Соседство, кажущееся несовместимым, но не более, чем “совместимы” стихи самого Клюева на страницах последующих номеров.

*Мы — кормчие мира, мы — боги и дети,
В пурпурный Октябрь повернули рули!*

*Плывем в огнецвет, где багрец и рябина,
Чтоб ран глубину с океанами слить;
Суровая пряжа — бессмертных судьбина —
Вручает лишь солнцу горящую нить.*

Сама же картина “пурпурного Октября”, лицезрение “Республики” – название следующего стихотворения – не внушает никаких радостных чаяний.

*Керженец в городском обноске,
На панельных стоптанных каблуках...
О родина, ужель в папироске
Больше ласточек, чем в твоих полях.*
.....

*Смертельны каменные обноски
На Беле-озере, где Синеус...
Облетают ладожские березки,
Как в былом, когда пела Русь.*

*Когда Дон испивался шеломом,
На базаре сурьмился медведь.
Дятлом — стальным ремингтоном
Проклевана скифская медь.*

Далее — величественная утопия грядущей коммуны, клюевский земной рай, всемирный парадиз, живописно сотворенный “змеей-пером”, рядом с которым все утопии коммунистических вождей и идеологов, вместе взятые, кажутся бескрылой и бесфантазийной банальщиной.

*Мы опояшем шар земной
Не отстрозубую стеной —
Цветистой радуг наша тканьь,
Уснова — груди, губ герань,
Кайма из дерзостных грудей,
Узор из выпрених очей,
Живого пояса конец
Из ослепительных сердец!*

*Мы опояшем океан,
Как твердь, созвездьями из ран,
А кровь в рубиновый канат
Сплетет нам старище-закат!
Под вулканическим перстом
Взгремят в пространстве мировом
Созвездья ран, кометы слез, —
Планетный огненный обоз!*

.....
*Мы опояшем шар земной —
Рука с дерзающей рукой,
Уста — мирскую купину
Сольем в горящую волну,
Чтоб ярых песен корабли
К бессмертью правили рули, —
На острове Знамен и Струн,
Где брак племен и пир коммун!*

Пафос этого гимнического произведения чрезвычайно схож с пафосом “пролетариев”, празднующих свой праздник на страницах того же “Грядущего”, — другое дело, что поэтический дар и масштаб мысли и зрения несопоставимы. Не лишен любопытства и тот факт, что клюевское творение было напечатано в “Пламени” по соседству с творением Луначарского “Илья Муромец — революционер”. Революционность былинного героя, по мнению наркома просвещения, состояла в противостоянии его двору князя Владимира, сшибании маковок с церковью и раздаче из “пьяной голюшке кабацкой” (“борьба с религией”).

А далее...

В самом конце 1918 года выходит книга Клюева “Медный кит”. В “Пламени” на нее дает восторженную рецензию Иннокентий Оксенов под псевдонимом “А. Иноков”.

“Клюев весь принадлежит народу, он вышел из народных глубин, из олонечских лесов. В его голосе мы слышим голос мудрой народной стихии, в его поэзии слышится вещая непреклонная воля.

Каждое слово поэта ценно, каждая строчка его — откровение, ибо в поэзии мы соприкасаемся с самыми истоками народного творчества, причащаемся первобытной радости чистой народной души...

Революция совершила в душе поэта великий переворот. Прежний певец избяного рая, находивший все радости мира в своем родном углу, окинул теперь острым взором большого художника весь широкий мир и увидел, что все страны, все культуры взаимно проникают друг в друга...

В “Медном ките” Клюев встает перед нами во весь свой рост большого художника. Народ может гордиться своим поэтом”.

“Послом от Кита пришел я к вам, братья. Воистину он хочет примириться с вами”, — такую дарственную надпись сделал Клюев на книге, подаренной Александру Васильевичу Богданову — редактору “Звезды Вытегры”. Без сомнения — с этой же жадной примирения “Всемирной Песни” с “чугунными, бетонными” — он издавал “Медный Кит” в том же Петроградском Совете рабочих и красноармейских депутатов, где выходил журнал “Грядущее”... И получил замечательное ответное приветствие — рецензию Павла Беззалько.

“Плавая по бурному океану русской жизни и наглотившись многих медных и железных вещей, вроде — пулемета, революции, Ленина, власти советов, республики, коммуны — кит почувствовал тяжесть в брюхе. — Ого! — подумал зверь — я, кажется, забрюхател “современностью”.

Через известный промежуток, какой определен природой, кит родил.

Но родил вместо “современности” Божьего послушника, пророка Иону, проглоченного три тысячи лет назад в морях древней Иудеи.

Вышедши на свет Божий, мученик Иона решил издать книгу под названием “Медный Кит”, чтобы рассказать миру о вещах, виденных им во чреве кита. Книга эта издана Петроградским Советом, вероятно, с научной целью, чтобы знали, как преломилась “современность” в голове человека, который отстал от жизни ровно на 30 столетий...”

Далее Беззалько, позаимствовавший образ Ионы из клюевских “Избных песен”, с издевательскими комментариями цитировал “Поддонный псалом”, “Есть в Ленине керженский дух...”, “Уму республика, а сердцу — Матерь-Русь...”, “На божнице табаку осьмина...” — и заключал намеком на пресловутую “келью под елью”:

“В книге “Медный Кит” и, что то же — “Еловый скит” есть немало очень сильных, красивых стихотворений, но они не спасают читателя от тяжелой улыбки при зрелище того, как автор тщетно силится уберечь от всеразрушающей революции свой древний Китеж-град”, свое христианское миропонимание.

“Медный Кит” — книга нездоровая. Да это и понятно: как можно было автору написать здоровую, ясную, солнечную книгу, когда он пробыв такое продолжительное время в темном свалочном месте прожорливого кита?”

Это едва ли можно было счесть за частное мнение частного критика. Клюеву ясно дали понять, что в “пролетарском” сообществе он гость как минимум нежеланный, которого терпят лишь по определенной необходимости. И он хорошо это понял. Тому свидетельство — стихотворение, появившееся на страницах того же “Пламени”.

*По мне Пролеткульт не заплачет,
И Смольный не сварит кутью.
Лишь вечность крестом обозначит
Предсмертную песню мою.*

*Да где-нибудь в пестром Судане
Нубиец, свершивши намаз,
О раненом солнце-тимпане
Причудливый сложит рассказ!
И будет два солнца на небе —
Две раны в гремящих веках,
Пурпурное — в ленинской требе,
Сермяжное — в хвойных стихах.*

Это уже не “керженский дух” в “ленинской требе”... Два солнца еще не гасят одно другое — но уже разведены по разным орбитам, где “пурпурное” соотносится с “железным”, а “сермяжное” — с “живым”... Железный мир обогрывает солнце с Запада, Живой — с Востока.

*От смертных песков есть притины —
Узорный оазис-изба...
Грядущей России картины —
Арабская вязь и резьба,*

*В кряжистой тайге — попугаи,
Горилла за вязкой лаптей...
Я грежу о северном рае
Плодов и газельих очей!*

Рискованный посыл Клюева в будущее и “грядущей России картины” — возможное пророчество о смене географических полюсов, цивилизационном сломе, последствия которого “новое небо и новая земля”. . . Этот евразийский мотив станет определяющим в книге, которая будет складываться в годы его “вытегорского сидения”, книги, что будет названа “Львиный хлеб”.

А пока — он предпринимает все усилия к изданию двухтомного “Песнословия” — и пишет слезное письмо Максиму Горькому.

“...Революция сломала деревню и, в частности, мой быт; дома у меня всего житья-бытья, что два свежих родительских креста на погосте. Англичанка выгнала меня в Питер в чем мать родила. Единственное мое богатство — это четыре книжки стихотворений, в совокупности составивших “Первый том” моих сочинений, и новая, не видевшая света книга, в которую вошли около двухсот стихотворений, в большинстве своем отразивших наше красное время, разумеется, в самом широком смысле, чаще так, как понимает его крестьянская Рассея.

Добравшись до Питера и не имея понятия о бесчисленных разделениях в людях и, в частности, в художественных литературных кругах, я встретил на одном из митингов комиссара советского книгоиздательства, который предложил мне издать книжку более или менее революционного содержания, — какую я ему в обозначенный срок и представил. Но добро без худа не бывает: мои прежние издатели, которые раньше меня обязывали (обедом, десятирублевой ссудой) издаваться только у них, теперь огулом отказываются от печатания моего большеви(с)тского “Первого тома” и т. д.”

Конечно, Клюев имел понятие “о бесчисленных разделениях в людях” и, тем более, “в художественных литературных кругах”. Договор с издателем Аверьяновым он расторгнул сам, получив предварительное туманное предложение издания от чиновников Наркомпроса. . . Но все благополучно застопорилось, и Клюев, печатавшийся в журнале Луначарского, но не входивший с ним в личный контакт, обращается к посредничеству Горького, всеми силами выжимая слезу у не принимающего его стихов ни при какой погоде, но сентиментального и душевного, как ему кажется, обладающего немалым авторитетом писателя.

“Разные ученые люди почестнее указывают мне на Луначарского, которому, как члену рабоче-крестьянского правительства, будто бы очень к лицу издавать крестьянского поэта, но я весьма боюсь, что для того, чтоб издал меня Луначарский, — мне придется немножко умереть, как Никитину с Кольцовым. . . Алексей Максимович, посудите сами: скоро праздник 25-го октября 1918 года, земля, говорят, будет вольной, и в свою очередь я буду поэтом Вольной Земли и т. п. Если же мое новое социалистическое отечество и Луначарский для издания народных поэтов ставят в действительности смертные условия, то Вы, Алексей Максимович, быть может, усмотрите возможность довести до сведения Луначарского, что я уже приготовился и на такие, самые легкие из условий (я оголодался до костей и обнуждился до потери “прав гражданина”) — мне бы только одним глазком взглянуть на Вольную Землю. . .”

Собственно говоря, при посредничестве Горького, поговорившего с Луначарским и убедившего его в необходимости издания произведений “крестьянского революционного поэта”, два тома “Песнословия” вышли в свет в Литературном отделе наркомата просвещения в 1919 году.

(Продолжение книги “Ты, жгучий отпрыск Аввакума. . .” читайте в 2011 году)